Анастасия Ивановна Цветаева была старейшей писательницей России, и я знал, что ее судьба длительна и интересна, что ее «Воспоминания» не просто замечательны, им в литературе тех лет не было аналогов...

Сентябрь 1984 года. Впервые дверь ее квартиры на Большой Спасской улице в Москве отворилась предо мной после трех всем условленных звонков. Вступил за порог — неведомой встрече навстречу. Здороваясь, входя в беседу, заметил сходство с фотопортретом, открывающим первое издание «Воспоминаний», — седая челка, высокие дуги бровей. Взгляд — не прямая открытость, а отраженная близорукостью глубина.

— Вы, оказывается, молоды, — сказала она, в голосе ее послышалась приглушенная годами звучность, — по вашему письму думала, вы старше... Прочтите, пока я на минуту отлучусь, о сестре моей Марине в «Юности» очерк Тамары Астаповой. Это самое искреннее из того, что о ней за последние годы написано...

Энергичный шаг по комнате к телефону. Номер набран на память. Слитность, образность речи, летящей через густой лес подробностей к насущному, ключевому, ради чего начат разговор.

Ей почти девяносто лет? Не верилось.

Со стен, со шкафов небольшой однокомнатной квартиры — фотографии друзей: поэтов, художников, писателей. Внимание уходит к ним, на них: трагический, темный взгляд Максимилиана Волошина, гордый облик Осипа Мандельштама, рядом стремительный каждой чертой Борис Пастернак...

Здесь, у Анастасии Ивановны, чувствуешь себя чуть ли не их современником. Ведь она — живое связующее звено меж нами и старой русской литературой, меж нами и давно антологическими именами, меж нами и старшей ее сестрой Мариной Цветаевой, чьи стихи для многих — золотые листья на классическом древе поэзии.

Анастасия Ивановна закончила телефонный разговор, подошла. Мы разговорились, сначала говорили о друге ее юности писателе Анатолии Корнелиевиче Виноградове, и потом сразу — о многом другом, конечно, о людях и событиях Серебряного века... И разговор не раз в будущем продолжился, первое посещение не стало последним...

И потом девять лет, до сентября ее смертного 1993 года, я помогал Анастасии Ивановне редактировать рассказы, статьи, очерки, стихи, тогда еще неопубликованный роман Amor. Общение наше — работа по пять-восемь часов в увлеченности, полной погруженности в текст, в шлифовку предложений, — прерывалась еще и проходящими в перерывах меж трудами чаепитиями, во время которых она много рассказывала себе, о семье Цветаевых и о своем дружеском круге. Об отце, Иване Владимировиче Цветаеве, профессоре-филологе и искусствоведе, основателе Музея изящных искусств на Волхонке (теперь ГМИИ), второго после Эрмитажа центрального музея западной живописи и скульптуры в стране. О матери, Марии Александровне, одаренной музыкально, образованной, всесторонне развитой. Это о ней М. Цветаева писала из Феодосии 8 апреля 1914 года Василию Васильевичу Розанову: «Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика». Жизнь Марии Александровны трагична была тем, что не однажды оплакала она невозможность любви, преступившей долг...

«Сестер сближали с их матерью общая одаренность, свойственный им романтизм, мучительная тяга к чему-то (Мария Александровна говорила, что это в ней “польская жаль”, надрыв в горе, радости и веселье: потребность любовного увлечения (с детских еще лет у обеих), часто общая для них всех трех субъективность восприятий (окраска звука и т. п.) и эгоцентризм...» — свидетельствует в своих воспоминаниях Валерия Цветаева, сестра по первому браку отца (В. Цветаева. Я в основе всегда художник. Иваново, Обл. художественный музей, 2018, с. 98).

Гордость, стать, волю, тягу к свободе сестры унаследовали от матери. От нее же эмоциональность, восприимчивость, глубину памяти, может быть, и способность входить с головой в человека, в книгу, в день впечатлений. Анастасия Ивановна как-то рассказала мне удивительный случай, говорящий о феноменальней интуиции той, кто подарила миру два столь больших в дочерях — таланта.

Однажды, придя домой из театра, Мария Александровна увидела, что нет на ней надетой накануне любимой золотой броши с изображением женщины у рояля. Расстроилась: дедушкин подарок. Были поиски с фонарем по переулку, где жили. Все тщетно. Легла спать огорченной... Но увидела сон: утро, Камергерский переулок, снег. Она идет по тротуару, видит горбик снега, под ним, под древесным листом, — брошь! Подняла и проснулась. Несмотря на то что ее отговаривал Иван Владимирович ехать на поиски — «Поздно уже, голубка, не найти!», — поехала по следам сна туда, где была во сне. Вернулась потрясенная, с брошью. Явь оказалась точной копией сна. Подобное с нею бывало не раз. В ней были черты ясновиде-

Анастасия Цветаева и Станислав Айдинян. Коктебель, 1985 год

ния. И она дружила с отцом Дмитрия Сергеевича Мережковского, Сергеем Ивановичем Мережковским, придворным и мистиком, который считал ее выдающимся медиумом.

Слушая устные рассказы Анастасии Ивановны о матери, думал я о том, какую гармонию надо было носить в душе, чтобы снами совпадать подсознательно с реальностью...

В двухтомник «Воспоминаний», выпущенный нами в 2008 году, уже после ухода в иной мир Анастасии Ивановны, вошли эти и еще другие, прошлым озаренные, таинственные «семейные» сведения.

Однако справедливости ради надо сказать, что от отца, сына православного священника во Владимирской губернии, Ивана Владимировича, сестры унаследовали энергичность, целеустремленность, огромную работоспособность, тягу к искусству, да, судя по его сохранившемуся в рукописи и машинописи дневнику, — и литературную одаренность, ведь его стиль — и в письмах, и в дневнике — повествовательно совершенен, порой поблескивает юмором...

Можно вспомнить и о том, что Андрей Иванович Цветаев, брат сестер по первому браку Ивана Владимировича, росший с ними в доме в Трехпрудном переулке, также имел склонность к литературе, писал стихи; в 1911 году их подборка вышла в альманахе «Хмель», они были в духе своего времени, времени символизма. Юрист по образованию, он позже, при советской власти, работал в Госторге, атрибутировал, определял авторство живописных картин неизвестных авторов, и делал это на грани невозможного — с прозорливостью ясновидящего. Евгения Михайловна Цветаева, урожденная Пшицкая, вдова Андрея Ивановича, говорила автору этих строк о том, что он сдал в Госиздат готовый сборник своих стихов, но потом скончался от туберкулеза, и судьба сборника осталась неизвестна. И еще она сказала, что его пришли арестовать из НКВД, не зная, что его уже нет на свете, что он умер в 1933 году. Арестована же была его вдова, Евгения Михайловна, после ее ареста рукописи Андрея Ивановича пропали.

Что касается решающей встречи, исключительно повлиявшей в юности на сестер Цветаевых, то это была встреча с Львом Львовичем Кобылинским, Эллисом, поэтом, переводчиком, мистиком, артистом-имитатором, мастером перевоплощений, теоретиком и практиком русского литературного символизма. В воспоминаниях Валерии Цветаевой о нем читаем: «Большим событием было появление Эллиса у нас в Трехпрудном. Отец благоволил к Эллису как человеку одаренному, образованному. Для Марины и Аси Эллис стал просто “Чародеем” (так называлась поэма М. Цветаевой, в 1914 году Эллису посвященная. — *Ст. А*). Артистичностью своей природы,

Иван Владимирович Цветаев и Анастасия Цветаева

искренностью, блеском таланта он подчинил души обеих сестер — вдохновенные экспромты его вели их в манящий мир бурной фантастики, приучили чувствовать пульс поэтического творчества» (В. Цветаева. Там же, с. 171). Первые серьезные поэтические посвящения сестрам принадлежали перу Эллиса.

Анастасия и Марина Цветаевы при общих чертах, унаследованных от родителей, при большом сходстве душевного строя, были различны характерами, стремлениями, и прежде всего судьбами.

Марина Цветаева после революции, пожив недолго в Советской России, уехала с дочерью Ариадной к мужу Сергею Эфрону в Чехословакию, потом во Францию, почти вся жизнь Анастасии Цветаевой протекала в России, конечно, кроме детских лет,

Валерия Ивановна Цветаева

когда они с сестрою учились языкам в пансионах: французскому в Швейцарии, в Лозанне, немецкому в Германии, во Фрайбурге. Вспоминала Анастасия Ивановна, как в 1903–1904 годах еще девочками-пансионерками поднимались они в ослепительный блеск альпийских снегов, про Женевское озеро, на берегах его практиковались, совершенствовались во французском, который с детства, как и немецкий, прививала им мать.

«Мы быстро переходили с русского на французский, — рассказывала Анастасия Ивановна, — папа называл это перепрыгивание, эту языковую чехарду, “обезьяний язык”, просил, чтобы раз уж начали на каком-то одном говорить, не перескакивали бы на другой».

С тех времен и до последних пор в речи Анастасии Ивановны проскальзывали французские и немецкие выражения и пословицы. У обеих сестер были свои кумиры, образы из французской литературы и истории. Они любили стихи Гюго, Бодлера, Верлена, Марселины де Борд Вальмор. Марина в ранней юности увлекалась императором Франции Наполеоном, отважным и сильным, и сыном его, ребенком, герцогом Рейхштадтским, нежным и беззащитным....

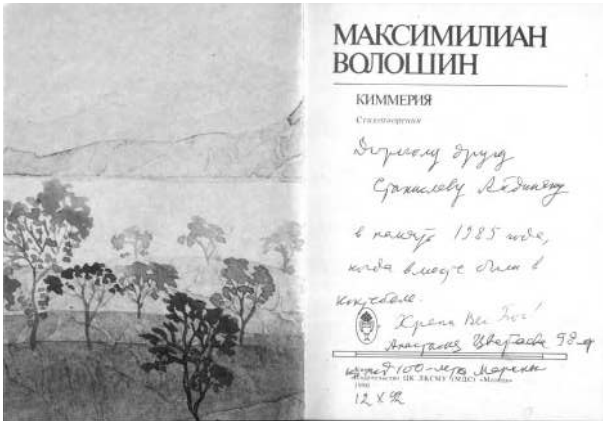
А Анастасия — у нее был замысел по-своему, по-новому повторить литературный опыт Марии Башкирцевой, русской по происхождению художницы, жившей во Франции, оставившей на французской языке написанный ею откровенный и умный дневник; этот дневник ее прославил более, чем опыты в живописи, скульптуре, науке. Анастасия Ивановна дважды, в 1912 и 1927 годах, была на могиле Башкирцевой в Париже. В одной из наших бесед подробно описывала картину кисти Башкирцевой, которая тогда была выставлена над могилой в часовне. Не забудем также и о том, что М. Башкирцевой посвящен «Вечерний альбом», первый поэтический сборник М. Цветаевой.

Замысел издать свой дневник неполно, но осуществился первыми книгами Анастасии Ивановны, «Королевскими размышлениями 1914» (1915) — это богоборческая, тонкая эссеистика, выбранная из дневников. И второй, очень смелой книгой «Дым, дым и дым» (1916), отданной чувствам. В «Королевских размышлениях» — возвышенный вздох над миром о бесцельности и тщетности бытия. Известные мыслители России Л. Шестов и В. Розанов познакомились с книгой, имели о ней свое мнение. Вторую, исповедальную, откровенную, психологически тонкую книгу, отрицательно рецензировал в газете «Русская воля» в 1917 году известный тогда Леонид Андреев. Надписывая мне свой «Дым...» годы и годы спустя, Анастасия Ивановна написала: «...книгу, которую misunderstood Леонид Андреев...» — то есть книгу, которую не понял (по-английски) Леонид Андреев. Надо сказать и то, что как в первой, так и во второй книгах писательницы есть краткие строки, ему, Л. Андрееву, посвященные, и они отрицательные... И это не оставило, видимо, знаменитого драматурга и писателя равнодушным.

Борис Пастернак. Фото с автографом к Анастасии Цветаевой

Война, потом революция. Судьба Анастасии Цветаевой в этот период складывалась уже совсем трагично: один за другим умерли первый и второй ее мужья. В Коктебеле умер от дизентерии и ее второй годовалый сын Алеша... Трудные годы в Крыму — в Коктебеле, в Судаке, в Феодосии. Голод, нищета, порой отчаяние. Но воля к жизни оказалась все же сильнее. Анастасия Ивановна пережила самое трудное и весной 1921 года получила стараниями сестры Марины вызов на работу в Москву и первое время по приезде жила с сыном Андреем у нее в квартире в Борисоглебском переулке.

Однажды философ Н. А. Бердяев пришел в гости к Марине Цветаевой и стоял с ней на лестничной площадке второго этажа дома в Борисоглебском. В этот момент внизу с улицы открылась дверь подъезда и показалась маленькая, миниатюрная Анастасия Ивановна. У нее на плечах вздымались два огромных бревна. На Брянском вокзале (ныне он зовется Киевским) в Москве на подводы грузили дрова. Но лошади падали от бескормицы, и возчики сбрасывали лишние, непосильные лошадям бревна, которые тут же уносили москвичи себе на растопку печей в холодные квартиры. Анастасия Ивановна рассказывала:



Волошин. «Киммерия». Автограф Анастасии Цветаевой

— Эти бревна за спиной у меня были как «адовы крылья». Я останавливалась, отдыхала и тащила их дальше...

Увидев Анастасию Ивановну с высоты лестничного пролета Бердяев, обратившись к Марине Ивановне, изрек:

— Эти бревна притащила ваша сестра?! Я бы не смог!..

Этот случай очень показателен, он дает представление о том, как тогда жили люди.

Позже, в 1920–1930-х годах, Анастасия Ивановна преподавала английский язык в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, в Книжной палате, жила интересной, полной жизнью, окруженная узким кругом мистически настроенной московской интеллигенции. В 1921 году по рекомендации М. Гершензона и Н. Бердяева вступила во Всероссийский союз писателей. Это была профессиональная писательская организация для литераторов старой, дореволюционной формации, организованная в 1920 году и существовавшая до 1932 года.

В 1922 году Анастасия Ивановна близко сдружилась с удивительным человеком, мистиком, розенкрейцером, поэтом-импровизатором Борисом Зубакиным, которому Патриарх Тихон после беседы с ним присвоил ему сан Благовестника, который давал право, не будучи священником, проповедовать в церквях. За Б. М. Зубакиным до его ареста и высылки из Москвы Анастасия Ивановна записывала его лекции, как она сама говорила, по *этическому герметизму*, специально выученными для этого стенографическими знаками.

В те годы она была в контакте с некоторыми из тех, кто определял своим творчеством вершины литературы страны, — так, она переписывалась с А. М. Горьким, в 1927 году ездила к нему в Италию. Дружила с 1923 года с Б. Пастернаком, из писателей встречалась с Пантелеймоном Романовым, с которым они вместе отредактировали и сократили до одного тома его четырехтомный роман «Русь»; хорошо знакома была с поэтом и писателем И. С. Рукавишниковым, который даже делал ей предложение. Но с ее стороны к нему были лишь дружеские чувства. Была знакома с В. В. Вересаевым, виделась с ним в Коктебеле, потом в Москве, очень ценила его и как писателя, и как человека, помогшего ей в голодные годы. Ею был безответно увлечен драматург К. Тренев, сыгравший потом в Чистополе зловещую роль в судьбе ее сестры М. Цветаевой.

Анастасия Цветаева. Коктебель, мастерская Максимилиана Волошина, 1911 год

Еще до Первой мировой войны она читала по-французски и в переводе Софии Парнок Марселя Пруста. С тех пор она считала его первым из прозаиков. Марсель Пруст оставался для нее непревзойденным, и в ее «Воспоминаниях», при всей их самостоятельности, есть «прустовская» пристальность в предметных описаниях.

Интересно также, что когда я спросил Анастасию Ивановну, какой город изо всех, что она повидала в путешествиях, ей к сердцу всего ближе, она отвечала: «Я никогда не любила Петербург, он мне холоден, даже страшен. Люблю Москву и Париж. В Париже, каким я его запомнила, ощущение легкости, непринужденности, свободы».

Была в ее жизни встреча... Произошла она в доме друга сестер, Максимилиана Волошина, художника и поэта. У Волошина Анастасия Ивановна встретилась и подружилась с девушкой, писавшей французские стихи. Этой девушке в будущем суждено было сыграть определенную роль в истории французской

Дом творчества «Коктебель», где останавливалась Анастасия Цветаева. 1985 год

культуры, поскольку это была Майя Кудашева, в девичестве Кювилье, впоследствии Майя Роллан. Это она, Майя, некогда влюбилась в поэта Андрея Белого, и Анастасия Ивановна ездила по ее поручению за город к нему — делать от Майи предложение. Но тот отвечал:

— Нет, Анастасия Ивановна, это невозможно. От Майи исходит женская опасность! Вот если б это предложение исходило от вас...

Но от Анастасии Ивановны подобных предложений не исходило. Она добровольно, под влиянием Б. М. Зубакина, приняла мистико-религиозный обет и следовала ему: не пить, не курить, не вступать в интимные связи... Отказалась и от своего дневника, перестала его вести, так как это была ежедневная хроника ее мыслей и чувств, а что они перед Вечностью?

Когда Майя Роллан приезжала в довоенную Москву, они виделись дома у Анастасии Ивановны. И Майя Павловна повелительно приказала приставленной к ней женщине, ее сопровождающей, подождать в коридоре, чтобы подруги, много лет не видевшиеся, могли бы поговорить спокойно и откровенно. Потом, по возвращении из тюрем и сталинских ссылок, Анастасия Ивановна возобновила переписку с Майей Павловной.

Мадам Роллан незадолго до ее кончины посетила в Париже журналистка, близкая приятельница Анастасии Ивановны, Галина Медзмариашвили, в те годы жена полпреда Грузии. Она передала от московской подруги письмо и журналы с публикациями воспоминаний. О этой встрече Галина Игнатьевна написала очерк, который был потом опубликован в газете «Вечерний Тбилиси». О М. П. Роллан Галина Игнатьевна написала небольшую, но очень интересную книгу «Я жив благодаря ей... (Эпизоды жизни М. П. Роллан)», которую издал в 2000 году Дом-музей М. Цветаевой в Москве.

Переписка супруги создателя «Жана Кристофа» и «Кола Брюньона» с А. И. Цветаевой длилась долго. В сохранившихся письмах — теплота дружбы, желание вновь побывать в Крыму, в Коктебеле, где Анастасия и Майя провели в молодости незабываемые часы и дни. О Майе немало упоминаний в «Воспоминаниях».

В 1985 году я по предложению Анастасии Ивановны поехал в Коктебель. Она написала письмо жившим прямо перед входом в писательский пансионат сестрам Журавским. И я поселился в маленьком отдельном каменном домике у них. Это были уже не три, а две сестры из круга М. Волошина. У них дома хранился большой альбом с фотографиями Максимилиана Александровича, его знакомых и друзей. И у них был единственный в Коктебеле в те годы Театр камней. Сестры в юности на горном Карадаге находили большие полудрагоценные камни — аметисты, хризолиты, халцедоны, гранаты. Карадаг когда-то после дождя сверкал снопами искр, это оживали светом омытые дождем кристаллические камни... Так вот сестры торжественно восходили на грубо сколоченный из досок помост-сцену, подставляли лучам солнца некогда найденные камни. И снопы искр и свечений радовали пришедших к ним гостей, восхищенных зрителей...

Анастасия Ивановна приехала несколькими днями позже меня и поселилась в Доме творчества писателей. Марии Степановны Волошиной, вдовы Максимилиана Александровича, у которой она раньше останавливалась в Доме поэта, уже не было в живых, она умерла в декабре 1976 года. О ее смерти Анастасии Ивановне сообщила подробным, напечатанным на машинке письмом писательница Е. В. Нагаевская.

Помню солнечный день в осеннем Коктебеле, волшебном ансамбле гор и переменчивого по цвету моря, на берегу которого тогда уже очень редко находили полудрагоценные камни. Анастасия Ивановна отправилась навестить Дом-музей ее друга, М. А. Волошина. По пути в музей в рассказах Анастасии Ивановны оживал до зримости — ее Макс, Максинька, которого, когда он приезжал в Москву и заходил к ней в гости, по ее словам, «было приятно кормить, как кормить слона». Она рассказывала: «В 1926 году с Марусей в Москве он зашел ко мне на четвертый этаж. Я знала, что он придет, он с трудом взошел на мой верх, уже больной, я приготовила ему три пирожных и какао, но он отказался, сказал, что ему можно только полстакана кефира и кусочек черного хлеба...»

Интонациями, тоном Волошина Анастасия Ивановна читала его стихи, вспоминала облик поэта,

«голову Зевсову, большую, копну густых волос», на которых обручем полынный венок, в светлых глазах грусть и самоуглубленность. «В последнем портрете Макса все расплавилось в доброте и сочувствии», — прибавила она.

Мы пришли в Музей. В мастерской некогда стоял большой стол, но его вынесли ради удобства продвижения экскурсантов. С этим Анастасия Ивановна согласна не была. Хотя мастерская совсем небольшая и если бы там стоял, как раньше, стол, проходить группам было бы почти невозможно. В мастерской женщина-экскурсовод громко читала в манере Беллы Ахмадулиной стихи Марины Цветаевой. Беллу Ахатовну Анастасия Ивановна очень любила, относилась к ней с большой теплотой. Несмотря на ослабший с возрастом слух, Анастасия Ивановна услышала стихи старшей сестры в таком исполнении и шутливо сказала:

— Она воет как Белла, а Белла воет как лирический шакал!..

От террасы дома наверх, к смотровой площадке на башню ведет деревянная лестница, крутая и узкая. Анастасия Ивановна вышла из мастерской на террасу, обернулась к сопровождавшим ее друзьям и служителям музея. Она обратилась ко мне, отдала мне свою трость, которую часто тогда носила под мышкой, и сказала: «Станислав, 75 лет назад я поднималась сюда без трости и сейчас без нее поднимусь!» И — стремительный взлет ступенями вверх, она уже любуется горным Карадагом, одна из скал которого очертанием напоминает, почти повторяет профиль ее Макса. А с другой — гора, на которой он похоронен. «Макс обнял собой Коктебель!» — говорит она. А с неба, с гребней скалистых гор струятся теплые осенние лучи...

Еще одну дружбу Анастасии Ивановны я не хотел бы забыть, дружбу с гимназической подругой, Еленой Дьяконовой. Подружились они в 3-м классе гимназии Потоцкой в Москве, когда им было по 13 лет. «Галя, Гала — это она себе сама потом придумала», — говорила Анастасия Ивановна о подруге, с которой виделась последний раз до войны, в 1927 году в Париже, когда та была женой любимого Францией поэта Поля Элюара. В «Воспоминаниях» подробно и изящно описана встреча с Элюаром, сопутствовавшая встрече взаимная «восхищенность», нескончаемость беседы, на часы растянувшейся.

Потом Дьяконова покинула Элюара и разделила жизнь с великим сюрреалистом Сальвадором Дали. Стала под его кистью легендарной «Гала», о которой столько лет писала светская хроника. Об их с Сальвадором чудачествах и роскошествах говорил мир. Несмотря на светский образ жизни, Гала Дали не забывала старую подругу, живущую в далекой России, писала в Москву письма, присылала фотографии. На одной из них, 1980 года, Гала уже не молода, с бантом в голосах...

Гала Дали. Фото, присланное ею Анастасии Цветаевой

Однажды я рассказал Анастасии Ивановне, что Гала и Сальвадор Дали, как тогда рассказывали, привели на Площадь Звезды слона, привязали его у кафе и зашли внутрь. Анастасия Ивановна вздернула худыми плечами и уверенно заявила:

— Я бы увела слона!

Такова была подруга Дьяконовой.

С отчимом Е. Дьяконовой, присяжным поверенным Дмитрием Ильичом Гомбергом, Анастасия Ивановна до революции, уже взрослой, близко дружила. Они даже однажды ездили вместе по его делам в Варшаву. Гала не знала об этом. В написанном на французском письме Анастасии Цветаевой к Жану-Шарлю Гато, автору книги о Поле Элюаре, приводятся такие строки из письма Галы, обращенные к Анастасии Цветаевой: «Как я писала тебе в 1928 году, я повторяю, что много раз дружила с мужчинами, но никогда с женщинами, ты моя единственная подруга. Я хочу перечитать твою книгу» (цит. по кн. «Гений памяти. Переписка А. И. Цветаевой с П. Г. Антокольским». М., Дом-музей М. Цветаевой, 2000, с. 139).

Большинство сказок, повестей, романов, написанных А. И. Цветаевой в 1920–1930-х годах, до нас не дошли, потому что до войны она печаталась редко. Не соглашалась на произвольную редактуру, на идеологическую «лакировку» своих произведений, на шаблон и плакатность, которые, увы, в те времена часто требовали редакторы от литераторов. Честность перед собою и твердость не позволяли идти на компромисс.

Так что она больше занималась переводами, например, в 1924 году в альманахе «Современный Запад» была опубликована переведенная ею повесть французского писателя Т. Жува «Миссионер». А как сестра ее, Марина Цветаева, знала французский язык, как она чувствовала стиль! «Она перевела свою поэму “Молодец” (Le Gars) французскими стихами, — рассказывала Анастасия Ивановна. — Я говорила тогда и теперь говорю, что эта поэма написана “пылью растертых слов”, невероятно было сотворить такой же язык на французском, но Марина это сделала».

Анастасия Ивановна рассказывала и о том, что Марина Цветаева до революции, в юности, училась изящно писать — брала уроки у графолога. Так что ее вязевый, «плотный», овальный, запоминающийся почерк — не от природы, он усвоен учением. Дочь Марины Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, почерк матери явственно копировала, вольно и невольно подчеркивая тем самым свою родственность с нею. Анастасия Ивановна писала тем же почерком в детстве, что и в зрелые годы, и когда ей было почти 100 лет.

В 1923-м Госиздат выпустил в переводе Анастасии Ивановны с немецкого языка книгу Бруно Бюргеля «От рабочего к астроному». Этот перевод она делала не по своей инициативе, и когда к ней обратились годы спустя журналисты из ГДР с предложением рассказать об этой книге, она отказалась, так как подробностей не помнила. Однако книга Бюргеля помогла ей в работе над позже утерянным после ее ареста двухтомным романом «SOS, или Созвездие Скорпиона», где рассказывалось об астрономе, его возлюбленной и невозможности их любви. Прототипом главного героя романа, его фамилия была Егге, стал Михаил Евгеньевич Набоков, известный ученый-астроном, профессор МГУ. Познакомились они в 1928 году в Сочи, где она отдыхала в доме отдыха Цекпроса, по путевке, полученной в «папином музее» — то есть в Музее изящных искусств. Там по ночам Михаил Евгеньевич ей и ее сыну Андрею, прибывшему с ней, рассказывал астрономические были и гипотезы и, как она говорила, «показывал большой мужской черный зонт... Зонт был весь расшит созвездиями. Я такого больше никогда не видела».

По ложному обвинению в контрреволюционной деятельности Анастасия Ивановна была арестована в Тарусе 2 сентября 1937 года.

В большом томе «Розенкрейцеры в Советской России» (2004) опубликованы показания, данные ею следователю при ее повторном аресте в Вологодской области 17 марта 1949 года. Вот что она рассказала следователю.

Из показаний Цветаевой А. И. 23.03.49 г.

ВОПРОС: За что Вы были арестованы в 1937 г., а затем осуждены?

ОТВЕТ: В 1937 г. я была арестована, а затем и осуждена, как член к-р организации, однако членом к-р организации я никогда не была. Правильнее будет сказать, что я являлась членом мистической религиозной группы, причем я и сейчас придерживаюсь тех же религиозных взглядов.

ВОПРОС: Что это была за мистическая религиозная группа, членом которой Вы были?

ОТВЕТ: По этому вопросу прошу предоставить мне возможность дать более подробные показания. До 1918 г. я была атеисткой. В 1918 г. в связи со смертью моей близкой подруги ЗИЛИНСКОЙ Валентины Павловны я начала отказываться от своих атеистических взглядов и стала молиться. Примерно в 1922 г. я познакомилась с ЗУБАКИНЫМ Борисом Михайловичем, поэтом-импровизатором и скульптором. ЗУБАКИН являлся учеником чеха КОРДИГА, проживавшего в Петербурге.

30 июня 1907 г. в Петербурге при активном участии КОРДИГА в России был организован мистический религиозный кружок, имевший свои истоки от средневекового, так называемого ордена розенкрейцеров. Доктрина этого ордена была близка к христианской православной церкви.

Однако само слово «розенкрайцер», что по-немецки означает «роза и крест», объясняется как «носители культуры на кресте», то есть последователи этого Ордена являются проповедниками и религии, и культуры.

ЗУБАКИН являлся преемником КОРДИГА, в вопросе этого мистического кружка был его последователем.

После моего знакомства с ЗУБАКИНЫМ он неоднократно беседовал со мной об этом ордене по разным религиозным вопросам, и в дальнейшем, общаясь в кругу знакомых ЗУБАКИНА, мы разбирали разные вопросы религии.

К моменту моего знакомства с ЗУБАКИНЫМ в Москве уже существовала возрожденная ЗУБАКИНЫМ мистическая организация под названием Lux Astralis, что в переводе с латинского на русский язык означает «Астральный свет». Сокращенно мы называли нашу группу LA. Эта группа являлась идейным продолжателем ордена розенкрейцеров и строилась по иерархическому принципу: все участники группы делились на три степени посвящения: начальная степень — RA, то есть «рыцарь Астры», средняя степень — DA, «дарохранитель», и высшая степень — WA — объяснения этого не знаю.

Посвящение в одну из степеней производил ЗУБАКИН, имевший высшую степень посвящения WA. Я лично никогда ритуал посвящения не видела и могу только указать, как я была посвящена в степень: это было в доме ЗУБАКИНА в 1924 г. без посторонних. ЗУБАКИН произнес молитву, а затем прикоснулся мечом и крестом. Крест я поцеловала. ЗУБАКИН мне сказал, что я посвящена в среднюю степень DA.

Кроме того, группа имела свои реликвии: крест «Сакре-кёр» — массивный крест с медальоном сердца посредине и голубое убранство, лампада розовая в форме цветка. Крест «Сакре-кёр» был главной реликвией.

Сколько человек входило в мистическую группу — я не знаю, ибо ЗУБАКИН об этом не говорил, а я не спрашивала. Знаю, что отдельные члены группы в количестве 3–4 человек нерегулярно собирались на квартире у ЗУБАКИНА или у меня и слушали разъяснения ЗУБАКИНА по вопросам религии, нравственности, троичности Божества, свойств Божества, по разным философским вопросам. Все члены нашей группы стояли на идеалистических позициях, были верующими. Кроме всего этого, мы вместе молились.

Следует еще указать, что до приезда в Москву ЗУБАКИН еще проживал в г. Смоленске. Еще хочу сказать, что чех КОРДИГ погиб в первую империалистическую войну.

Вот все, что мне известно об этой мистической религиозной группе.

ВОПРОС: Из Ваших показаний не ясно, какие цели ставила перед собой организация, нелегально существовавшая под видом мистической организации LA.

ОТВЕТ: Я не называю нашу группу LA организацией именно потому, что ни о каких целях никогда не шла речь, а люди были объединены между собой в силу своих духовных взглядов и интересов.

ВОПРОС: Каково было отношение членов Вашей организации к существующему в СССР строю?

ОТВЕТ: Во время наших сборищ бесед на эти темы не было, и поэтому конкретный ответ на этот вопрос я дать не могу.

Показания с моих слов записаны правильно и лично мной прочитаны.

Цветаева

Допросил: начальник 1-го Отдела Следотдела УМГБ ВО

Старший лейтенант Розенберг

[ЦАФСБ РФ, Р-15913, л. 148–150; машинописная копия]

(с. 419–420)

Вот что мы читаем о духовном учителе А. И. Цветаевой в том же научно-историческом источнике: «Борис Михайлович Зубакин — поэт, импровизатор,

Б. М. Зубакин в Венеции

скульптор, искусствовед, этнограф, историк религий, лектор по различным вопросам культуры в разных лечебных заведениях, — родился 19.04.1894 г. в Петербурге. Отец — военный (умер в 1919 г. подполковником на службе РККА); мать из представителей обрусевшего шотландского рода Эдвардс, переселившихся в Россию в начале XVIII в., занималась литературой. В 1912 г. Зубакин окончил 12-ю Петербургскую гимназию. К этому времени он увлекся мистикой, в частности розенкрейцерами, и вскоре основал “ложу-институт” Lux Astralis (LA), в которую привлек ближайших друзей и свою первую жену, Е. А. Розанову. В таком первом варианте (“первый капитул”) LA просуществовала до 1917 г., когда вместе с крушением семейной жизни Зубакина распался и его кружок.

Несмотря на то что Зубакин объявил свое детище восстановленным “орденом розенкрейцеров”, заимствовав отдельные расхожие символы и создавая собственные тексты “гимнов”, обряды и ритуалы, с самого начала оно строилось по принципу религиозно-мистического братства со стремлением к устройству “общежития”, “коммуны верных” или, как позднее скажет Зубакин, “тайной (подпольной) церкви Иоанновой”. Главным же содержанием деятельности “братства” оказывается изучение литературы по истории религий, мистике, философские беседы и общие богослужения, проводимые Б. М. Зубакиным по собственному обряду.

На основе сохранившихся документов можно утверждать, что по своему складу, характеру и устремлениям Зубакин был несомненно выдающимся рели-

гиозным проповедником, который в иных условиях сделал бы блестящую карьеру. Своим красноречием, эрудицией, вдохновенностью и несомненными гипнотическими способностями, о чем приходилось слышать из уст немногих живых свидетелей, он имел громадное влияние на женщин, о чем может говорить, например, полное перерождение после встречи с ним в 1922 г. А. И. Цветаевой, сохранявшей верность ему как Учителю до последних дней своей жизни...» (с. 369–370).

Однажды мы были в гостях у Юдифи Матвеевны Каган, автора книги о И. В. Цветаеве, и та показала нам чудом сохранившийся небольшой остаток личного архива Б. Зубакина. Там были фотографии Б. Зубакина с М. Горьким в Италии, письмо к Зубакину В. Брюсова, письмо к нему Л. Андреева, небольшая тетрадка с мистическими лекциями рукою неизвестного, и среди прочего — несколько экземпляров книжки стихов Бориса Зубакина «Медведь на бульваре» (1929) с авторской правкой. С разрешения Юдифи Матвеевны Анастасия Ивановна одну из книг надписала мне, и эта дарственная надпись говорит о многом. Вот она: «Дорогому Станиславу Айдиняну — в его интерес, сердечный, а не только умственный к Прошлому, в котором в *моей* жизни — *самой* крупной величавой фигурой, ни с кем не сравнимым был автор этих стихов, мой многолетний Друг. С благодарностью за помощь и с радостью сблизить Вас с Борисом Михайловичем — Анастасия Цветаева 5.VI. 85».

Тюрьма, лагеря... Потрясение ареста и тюремного заключения вылились нежданно в стихотворное творчество. Незадолго до ареста Анастасия Ивановна на английский переводила стихи М. Лермонтова, а с английского — прозу «Герои и героическое» Томаса Карлейля. До того как она узнала в 1943 году о смерти сестры Марины, она там, в заключении, стала писать стихи, не похожие на творческий стиль сестры, писала чаще всего «в память», записывать было нечем и не на чем. В сталинском лагере родилось и стихотворение «Благовещенье», в котором отражена переживаемая трагедия. Вот оно:

Этот день даже в лагере, даже в аду
Ото всех он от дней — отмеченный.
Потихоньку земной поклон кладу
В Благовещенье.
В Благовещенье птица гнезда не вьет,
И косы не плетет девица,
Православный же, некогда славный народ,
Забывает Тебе молиться,
Божья Матерь! Взгляни на наш смрадный ад,
На измученных, искалеченных!..
Скоро вечер. Под тучами светел закат
В Благовещенье.

Потом ссылка в Сибирь. Сибирские годы она рассказала в своих «Сибирских рассказах», опубликованных в журнале «Юность». Рецензент газеты «Московские новости» писал о тех рассказах: «Это тихая и скорбная поэма о человеческом терпении, стойкости и неподвластности злу, недостойному даже упоминания». Рассказы пользовались невероятным читательским успехом, и редакционная почта откликов, им посвященных, была огромна. Далее, в 1988 году, была издана и книга Анастасии Ивановны «Моя Сибирь».

В самые трудные, самые гнетущие времена А. И. Цветаева не рвала нитей, связывающих ее с искусством, — рисовала, в заключении занималась лепкой из хлебного мякиша. И всегда, всегда хотела писать. Потом прошли годы, уже подрастала старшая ее внучка, Рита, ей Анастасия Ивановна стала рассказывать свое детство. Тогда нашла она тон и емкую зримость, которая притекала к ней потоком памяти емкой и наблюдательной. Эта зримость проявилась на страницах «Воспоминаний».

Художественные достоинства мемуаров ее оказались неожиданно столь высоки, что ее давний друг, поэт Павел Антокольский, даже мемуарами назвать книгу А. Цветаевой отказывался. Рецензия П. Антокольского вышла в «Новом мире», очень авторитетном тогда литературном журнале Советского Союза. «Назвать эту книгу мемуарами немыслимо, — писал он. — Точно так же, как “Детство. Отрочество. Юность” Льва Толстого и “Дэвид Копперфилд” Диккенса суть не мемуары, а роман, эпос, так и книга Цветаевой включает в себя высокий лиризм и реалистически точное исследование души».

Еще более восторженным был отзыв другого друга-поэта, Бориса Пастернака, он писал Анастасии Ивановне, получив машинопись первых глав «Воспоминаний»: «Только что получил и только что прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я вовсе не ждал дальше такой сжатости и силы...»

Да, писательница-мемуаристка Анастасия Цветаева была с литературой не просто в «дружеской» и «родственной» связи.

Ее «Воспоминания» для России имеют не меньше значение, чем для Франции психологическое возвращение в детство Робера Андре, его книга «Дитя Зеркало», или воспоминательная проза о детстве и юности Марселя Паньоля.

Я думал о секрете столь долгого, почти столетнего ее творчества, о силе таланта, развивавшегося всю жизнь и не погасшего на ее склоне, ведь последние годы дали больше осуществленного, опубликован-

ного, чем все предшествующие периоды... И пришел к выводу, что дело не во внешних чертах, — секрет в том, что Анастасия Ивановна была очень волевой человек, силой воли превозмогала старость. Сохраненная с детских лет восприимчивость давала сильную для ее возраста память. Воспринимала она не только глазами, которые с юности близоруки, не только слухом, который с возрастом значительно ослаб, но всем существом, душою, душевным опытом, душевным богатством, накопленным за жизнь.

Вот почему она могла, всего один раз увидев человека, один раз поговорив с ним, потом высказать о нем целое устное психоаналитическое эссе о замеченных чертах, манерах, еле уловимых нюансах поведения.

Дар психологического анализа, эмоциональность, искренняя *религиозность* — вот еще ключи к секрету творческого долголетия. Что до физической стороны, то долголетие тут имело основой воздержанность от каких бы то ни было излишеств, с 27-летнего возраста вегетарианство, холодные обтирания. Возможно, помогала и способность душою уходить в так ярко запомнившееся детство, из него черпать первозданную бодрость, энергию... На энергии бодрости, восхищенным пером написана ею и повесть «Сказ о звонаре московском», вышедшая сначала в журнале «Москва», потом в составе книги «Моя Сибирь», а потом и отдельным расширенным изданием, в соавторстве с родным братом главного героя повести, с Н. К. Сараджевым. Это была повесть о человеке, обладавшем феноменальным слухом, поражавшем Москву исполнением своих произведений, «гармонизаций» на колоколах. Он, звонарь-музыкант Константин Сараджев, был ясновидящим и яснослышащим. А. М. Горький, прочтя первый вариант повести, привезенный ею ему в Сорренто, в Италию, сказал: «Пишите о нем, Анастасия Ивановна, пишите, такой книги еще не было!..» Анастасия Ивановна привозила к Горькому и свой неоконченный фантастический роман «Музей», в котором, по сюжету, в Музей изящных искусств заходит Эдварс, это, как мы сказали, фамилия Бориса Михайловича Зубакина по матери, тут начинается наводнение. Москва-река выходит из берегов, музей поднимается на волны и плывет в древние Дельфы. Эдварс-Зубакин берет на себя командование над кораблем-музеем и подавляет возникший бунт нижних чинов. Этот роман был своего рода предтечей и современником фантастических повестей М. А. Булгакова. К сожалению, он «пропал без вести» при обыске в ее квартире и аресте Анастасии Ивановны в 1937 году.

Тем же высоким уровнем таланта, вкуса и оригинальности Анастасия Ивановна писала в конце жизни статьи, очерки, рассказы — публиковала их в популярных журналах, таких как «Юность», «Наука и жизнь», и публикации эти в те годы сразу становились событием, за ними были очереди в публичных библиотеках. Их читали, надолго запоминали. Такова была неоскудевающая природа ее таланта.

Анастасия Цветаева. Фотопортрет С. Птицына

Однажды я спросил Анастасию Ивановну, какой период жизни она считает наиболее благоприятным для человека. Она не задумываясь сказала: «Детство задыхается в невыразимости, молодость отдана чувствам, но самая блаженная пора — зрелость, когда уже пробужден анализ вокруг сущего, когда ты не обольщен жизнью, тебе принадлежит все, оттого, что тебе ничего не надо и ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии, и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым...» Потом такими же словами она завершила послесловие к сокращенному авторскому варианту ее книги «Дым, дым и дым», вышедшей, как мы говорили, в 1916 году и переизданной издательством «Современник» в 1988 году в сборнике прозы русских писательниц «Только час».

Генеральный «дебют» А. И. Цветаевой в журнале «Юность» состоялся в № 1 за 1986 год, когда были опубликованы прогремевшие, как мы уже упомянули, ее «Сибирские рассказы». До этого в журнале была опубликовала лишь заметка, посвященная поэзии Евгения Винокурова, написанная к его 50-летию, но с «Сибирских рассказов» Анастасия Ивановна ощутила журнал уже «своим» и стала отдавать туда свои большие очерки. Они, как и почти все, что писала ста-

Анастасия Цветаева. Скульптор Нина Вельмина

рейшая писательница России в последние годы, были автобиографической прозой. Таков ее «диптих», названный «Невероятные были», куда вошли два ее очерка «Родные сени», где описано, как она чудом попадает в дом, где некогда жила ее сестра Марина, и «Непонятная история о венецианском доже и художнике Иване Булатове», там рассказано о том, как художник в тяжелой болезни внезапно заговорил на старотосканском наречии итальянского языка и как он узнал себя на портрете во дворце дожей в Венеции... Это в № 1 за 1988 год. Далее последовал дневниковый рассказ о ее путешествии в Крым 10–15 ноября 1988 года совместно с доктором Ю. И. Гурфинкелем. В № 9 за 1989 год. И самым последним большим очерком А. И. Цветаевой стал также дневниковый текст «Моя Голландия», посвященный ее «завершающему» путешествию за границу, в Голландию, в июле 1992 года. В следующем году очерк вышел уже посмертно, в № 9 за 1993 год... Оба последних ее произведения, увидевшие впервые свет в «Юности», напомнили о себе совсем недавно выходом в книге А. Цветаева «Невозвратные дали» в серии «Дневники путешествий» известного издательства АСТ в 2018 году.

Что касается текстов, которые сегодня ложатся на страницы «Юности», — «О Николае Александровиче Бердяеве». С Н. А. Бердяевым Анастасию Ивановну познакомила сестра Марина Ивановна. И Анастасия Ивановна очень сдружилась в 1920-х годах с философом, бывала в его квартире, которая находилась в арбатских переулках Москвы. Когда Н. А. Бердяев был выслан из России и уплыл на известном «философском пароходе», Анастасия Ивановна пришла в покинутую Николаем Александровичем квартиру и взяла себе на память осколок кафеля от его печи... Незадолго до отъезда он подарил ей фотографию — себя в детстве. На ней был маленький, но гордый, уже, по ее словам, «утвержденный в себе» Бердяев... У него на той фотографии из-под штанишек спускались кружева. Анастасия Ивановна говорила, что он был старше их с сестрой, и такой давней моды они не застали. Очерк был посвящен видному пушкинисту Илье Львовичу Фейнбергу, чья жена М. И. Фейнберг-Самойлова была литературным редактором первых трех книжных изданий знаменитых «Воспоминаний» А. Цветаевой.

Далее следует очерк о ее подруге Майе Павловне Кудашевой-Роллан, написанный по просьбе ее друга, журналистки и писательницы Г. И. Медзмариашвили.

И в заключение — очерк «У новой подруги». В нем психологически дается погружение человека преклонных лет в атрибутику жизни старого интеллигентского жилья. Он написан на реальном материале по впечатлениям от поездки в квартиру Татьяны Андреевны Чернышевой-Кандауровой (1929–2003), кандидата математических наук, внучки Леонида Васильевича Кандаурова (1877–1962), математика и астронома, оставившего воспоминания и переписку с В. Д. Поленовым. Л. Кандауров был другом поэта и художника М. А. Волошина, близкого, как мы сказали, к М. и А. Цветаевым. Леонид Васильевич, тогда студент-естественник, совершил совместно с М. Волошиным путешествие по Европе, описанное в «Журнале путешествия...», куда вписывались путевые впечатления. Их спутниками были князь В. П. Ишеев, студент-юрист Ф. К. Арнольд, статистик А. В. Смирнов. Татьяна Андреевна Чернышева-Кандаурова познакомилась с Анастасией Ивановной именно как с живой представительницей волошинского круга, к которому принадлежал и ее дед.

Анастасия Цветаева

О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЕРДЯЕВЕ

Посвящается И. Л. Фейнбергу

Черный огонь вокруг головы!.. Приглаженный, пышный... Приглаженное пышное пламя, над спокойным и гордым лбом, с широким, открытым и ясным, над темными глазами, блещущими — пламя мысли, ложащееся в отточенную речь неотразимо-правильными утверждениями.

Трибун. Высок рост, расправленные мощные плечи, что-то от мальчика в зрелом, мужественном лице —

дерзость отваги, уверенность в *рождении* именно *этого* выхода из хитросплетений веками взлелеянной мысли, этими именно выражениями.

Прирожденный дар речи. Жест оратора — свободный и повелительный при благожелательной грации покоя. Покоя осознанности того, что познал — и скажет.

(Удачник со школьных лет? В детстве — любимец семьи, осчастливленной появлением *такого* ребенка?)

Что может ему противиться? Он начинает речь — и все затихает, восхищенно предавшись слуху. Властно и радостно в одержимой своей убежденности, он опрокидывает обратные утверждения безжалостным блеском *осиявая* несостоятельность иных систем.

И вдруг — кара ли ? но — за *что*? Или *вражии происки*? — вмешательством безобразия и бесчинства — страшный тик, уродующий на миг Красоту!

Искажается лицо говорящего — *не дать ему говорить*?.. Трагически вспыхивает дьявольская гримаса на благородных и величавых чертах, но гипнотический жест правой руки, не прикасающийся к лицу, загоняет *назад* рвущийся изо рта язык — и *плавно* продолжается речь, не снизошедшая остановиться, интеллект *победил* болезнь!

Должно быть, и ее *приступы* он разредил искусно за десятки лет этой муки, и порой *ничего* не заметно, кроме легкого поднятия руки — полусложенной, боком, ладони, с твердым движением поднятых пальцев — где-то возле груди...

Он говорит предельно просто, но слова *загораются* в огне голоса. Кто это? Проповедник? Он защищает высшую истину, высшую степень добра, он взывает к с о в е с т и человека в честности требуемого мышления, он почти на той горной тропе, где может погибнуть овца, *кто* он?

Нет, *он — философ*, он не отдаст блеска терминов, он не перешагнет порог, не ему вверенный, легкий холод, холодок ораторской речи отделяет его от пылкости проповеди, он не к душе обращается, а к ошибкам *мысли*, к *уму*!..

Анастасия Цветаева

МАЙЯ КЮВИЛЬЕ — КУДАШЕВА — РОЛЛАН

Воспоминание

Майя, Маинька! Как о Тебе писать? Опускается рука с пером, опускаются руки... Ведь есть же невозможное или почти — невозможное. И вот я за него принимаюсь. Покаянно — не сама это дело вздумала, а друзья, два ближайших друга, сказали: «Вы должны это сделать... Никто, кроме Вас, этого сделать не может, точно». И я поняла: да, так... Ибо с 17 лет (мы одного возраста), а последние года — редкие встречи и переписка с мечтой — еще хоть один раз увидеться — мечтой, не исполнившейся, мы прожили жизнь — Марина, Майя и я — рядом, параллельными жизнями, не охладевая друг к другу, через весь хлад жизни — из-за пламени наших сердец. Потому что Майя была наша, душевно, сердечно, не в нашей семье родившаяся, сестра. Столько сходств! Полное...

Оттого с первых встреч, точнее с первого часа встречи мы стали как бы магнитом притянуты воедино, без необходимости слов: все само собою понятно — интонация души.

Но пора начать о самой Майе: маленькая, легкая, как бы само воплощение бестелесности, минимальность тела. В каждом движении — душа. Смех, улыбка, отзыв на все, что звучит, что живо, вкус на все явления жизни, протянутые всюду руки, влюбленность во все. Сама радость жизни.

Попытка портрета? Узкое личико, густые, до плеч, прямые русые волосы, зоркий, умный, все вглотнувший взгляд. Черты? Отсутствие красоты. Присутствие неотразимой прелести. Ироничность над своей увлеченностью, лениво вольный русалочный зов. Драгоценность единственности.

Детство Майи было необычно: ее мать добродетельная француженка, гувернантка в семье Незлобиных (должно быть, тех, кто содержал театр, находящийся с левой стороны, если стать лицом к Большому театру), имела связь, грех с ее точки зрения, с русским, уехавшим. Конечно, не совершив второго аборта, несмотря на трудность своего положения, она родила дочку и, когда стало возможно, отправила ее во французскую Швейцарию, где мы в детстве с Мариной были во французском католическом пансионе, — значит, я ошиблась: Майя была моложе меня. Но мы там не встретились: это только лишняя черточка в характере наших детств.

Семи лет, если я не ошибаюсь — спросить некого, — мать ее по фамилии Кювилье, решила к школьному возрасту забрать дочку к себе. Их встреча состоялась на вокзале и привела к обоюдному разочарованию: матери предстало вместо благовоспитанной девочки вихрастое существо типа мальчишки, она увидела трудновоспитуемую дочь. А дочь — хозяйственно-добродетельную женщину, чуждую ей. Тем не менее они прожили вместе всю эпопею Майиной жизни, о которой пойдет речь.

Мы с Мариной встретили Майю, должно быть, в кругу сестер Марининого мужа, Лили и Веры (Ели-

заветы Яковлевны — нашей с Мариной любимицы и ее сестры, актрисы Веры Эфрон), когда Майе, должно быть, было не более 17 лет. Она писала французские романтические стихи, была прелестна и ни на кого не похожа, и мы, как уже сказано, сроднились с нею сразу, обе, — что редко бывало: у каждой из нас были свои подруги, должно быть, у Марины — мало, у меня — больше. Майя среди них заняла особенное, свое, ни с кем не сравнимое место, ибо была, как сказано, не подруга нам, а — сестра, в глубоком смысле этого слова.

Основное состояние Майи — *влюбленность*. Это ее дыхание. В кого — сменяются... Да разве мало получается — в кого? В стольких кругом — у каждого своя прелесть — и как же не отозваться? — но иногда это длилось долго. Помню несколько лет ее сильной влюбленности в Виктора Веснина — одного из братьев-архитекторов.

Имена? Может быть, Бальмонт (трудно бы его пропустить...). Брюсов? Нет, кажется, миновала. Об Андрее Белом — в этом переживании мне выпала доля — вернее, роль.

Андрей Белый, узнав о влюбленности в него Майи, как-то растерялся — и попросил меня приехать, поговорить с ним. Я поехала. Он жил где-то за городом. Мужественно и одновременно по-детски, не зная, как быть, Белый просил меня как-то «вразумить Майю, что ли»... Вразумить Майю! Сердце которой пылало у всех на ветру...

...Дольше других, помнится, длилось увлечение молодым, огромным и синеглазым поэтом Сережей Шервинским...

Но никогда — это мне твердо помнится — она не колебалась в выборе, не была влюблена в сразу в двух — на это не хватило бы ее сил! Силы поглощались нацело тем, кто был избран...

И счастью ее не было предела — богатству ее сердца не было счету, оно окрыляло ее весельем ее дней. Я не помню ее печальной...

О браке с Ролланом: «...Их встреча в горах в гостинице (Каньона де Во департамента Савой) была вторым “медовым месяцем”. Окончился визит в Швейцарию, и сперва стала Майя секретарем Роллана, а затем его женой.

И стала Майя впервые не опирающейся на весь мир вокруг, а только одному преданной...» Еще о Майе: «Она хотела со мной поехать в Коктебель, погулять вместе по дорогим сердцу местам. Но у нее была своя мечта! — Поехать в феврале, вспоминая, что именно в феврале Макс Волошин приносил ей фиалки с заснеженных гор.

Я писала ей в ответном письме: давай поедем в апреле. Зимой «Дом творчества» закрыт, и нам негде будет жить и питаться. Потом, при встрече в Москве, этот вопрос опять возникал, но у нее заболели обе секретарши, и она срочно улетела в Париж. Мечта осталась мечтой!

Когда Майя бывала в Москве, мы после долгой разлуки всегда встречались. Я два раза навестила ее в гостинице «Советская». Она пробыла у меня пять часов близ Тверской на улице Медведева. Сопровождающая ее дама хотела войти вместе с ней, Майя ее не пустила. Дама была с машиной и сказала, что будет ждать. Майя ответила: «Я люблю ходить пешком, не люблю транспорта». Были у нас встречи и в доме Тани, ее невестки...

У НОВОЙ ПОДРУГИ

Эта «новая подруга» — по возрасту — дочь. Нас связывает давняя дружба ее дедов и моя с Максом Волошиным. Собственно, Таня Кандаурова могла бы быть мне даже внучкой — между нами около 35 лет расстояния. Она — женщина средних лет...

Оставшись одна в ее квартире, она уже ушла на работу, я, чем отличающаяся от себя — в детстве?.. — 90-летняя девчонка, — брожу по незнакомым мне комнатам, дивясь своему — и не знала, что еще жив, думала — умер давно — интересу к чужой жизни, к чужому уюту...

Иду, одиночеством наслаждаясь, по двум, необычно в обе стороны протянувшимся комнатам — каждая сажень пять длинной, от западного окна к восточному — десять саженей ходу! Мимо стен с картинками в рамках, книжных полок — на иных книги, а вон на той — фарфоровые маркиз с маркизой, белоснежная островерхая раковина, кусок палевого шпата, деревянный стоячий медведь, крошечная группа костяных слоников, кус горного хрусталя... Сколько детских сокровищ! Сиянье светло-зеленого яйца с золотой тенью, а рядом — граненое синее и — совсем маленькое, всего мне сейчас драгоценнее, темно-зеленое, сказочный талисман...

Может быть, это и есть то, что зовется «впадением в детство»? Но тут весь «остаток» моего интеллекта бушует: это не *возраст* ходит по комнатам, потому что так я и в 17, и в 25 бродила бы, — это *душа* моя занята бродяжничеством, она прицепилась к чужим стенам, к голым привиденьям деревьев за восточным — перелет взгляда к западному окну. И косые лучи из восточного перерезали узкую комнату, шкаф, диван, зажгли золотой обод барометра, маленький кинжал в футляре с кистями — и во всю стену, непомерной величины, в раме — фотография: чье-то восхождение на снежные горы. Где они высятся?

Монблан? Альпы, по которым Марина и я в детстве шли с французским пансионом? — или Бештау?

Эльбрус?.. Стою и глотаю головокружительный спуск на веревке по отвесному краю скалы!

А добротные выдвижные ящики обезглавленного буфета зовут вниз, в прочность домашнего очага. Предполагаю, что в них одно поколение за другим — тома старых, старинных журналов, не имеющих понятия о партийных съездах, о взятии Зимнего, а рассуждавших о роли земских врачей, о реформах.

Шагание по солнечному лучу уводит меня взглядом вверх — к недосягаемым в высоте небольшим квартирам в рамах прошлого века, чья-то жизнь простерлась там, зримая зрячему, мне по близорукости — непонятная...

Но вот я держу в руках маленький — побольше, чем миниатюра — женский портрет, красками, и под стрелкой бровей — синева глаз, смотрит немо, в мои. Тонкий нос, кроткие ноздри и — или это мне чудится — страдальческий рот. Я хожу тут как близ кратера над погасшим огнем, чьим-то.

А это что? Фу-у... череп искусственный — в роли-пепельницы. Вазы, вазы цветочные. Керамика, Фарфор.

Оборачиваюсь — круглый стол. Кто и сколько за ним радовались, утоляя веселый голод? Но — веселый ли, лет 60 назад, в годы разрухи? — А над ним — можно ли примириться, что опять — по близорукости никогда не увижу *что* за глыбы синевы обрамляют невидимый пейзаж? Кто писал за этим маленьким столом, когда прислоненная немая гитара слушала тишину?..

Да, это тот мир, детский, заповедный, непознанный, что любопытством неутоленным жег все детство у выхода из парадного трехпрудного дома...

И еще — что приковывает, это — неостывшие следы чьей-то прожитой жизни, память о чем тесно связана со словами: «на том свете». Не забыть бы мне в этом моем странствии по чужим жизням, что — в углах обеих сливающихся, как реки, комнат — золотая темень икон.

Я долго молюсь.

Надо присесть?

Иду к дивану. На этом, широком, буду спать я, на другом, узком — хозяйка жилья, Таня... Меж диванов, меж нас — раскрытая дверь. Шаг за нее — коридоры. Я встаю, и ноги ведут меня в третью комнату, похожую на ту, что в «Маринином доме» в некогда Борисоглебском, которую я назвала — «комната отщепенец».

В ней жили, наверное, те, с кем поссорились, кто приехал внезапно...

Отраженный в двери зеркального шкафа угол стола, и на нем — пачки книг, нот, журналов — кто когда разберет их? Дверца шкафа — третье «окно» самой последней, маленькой комнаты. В ней не живет никто.

Я пришла к концу моего путешествия.

Я устала.

Я, должно быть, *должна* поверить, что мне 90 лет...